



ВОЛЬНЫЙ

Грех интеллигенции

«Вследствие отсутствия идеала личности (точнее, его извращения) все, что касается религиозной культуры личности, ее выработки, дисциплины, неизбежно остается у интеллигенции в полной запущенности. У нее отсутствуют те абсолютные нормы и ценности, которые для этой культуры необходимы и даются только в религии. И прежде всего отсутствует понятие греха и чувство греха настолько, что слово “грех” звучит для интеллигентского уха так же точно дико и чуждо, как “смирение”».

Вот строки, под которыми, наверно, не отказался бы подписаться любой из так называемых реакционеров. А между тем они принадлежат перу известного публициста-прогрессиста, яркого либерала, принимавшего видное участие в освободительном движении. Положим, за эти слова автор их, как и его товарищи по смелому подвигу обличения русской интеллигенции («Вехи»), был предан сей интеллигенцией анафеме, и имя его уже выключено из списка «борцов за свободу»; положим, слова эти решительно ничего не изменят в ходе событий русской жизни, не откроют глаз ни русской интеллигенции, ни вечному врагу ее — правительству; но уже одно сознание, что в самой толще русской интеллигенции пробудилось религиозное чувство и что среди этих самоуверенных, высокомерных людей типа Добролюбова и Чернышевского заговорили о «грехе», — сознание это есть этап в эволюции русского духа.

Типичнейший признак антирелигиозности русской интеллигенции — отсутствие чувства греха. Я называю его типичнейшим потому, что, вообще, атеизм сказывается не одним этим признаком. Религиозная культура, как справедливо отмечает автор цитируемой статьи, обнимает собой целый цикл явлений, отсутствующих в жизни русской интеллигенции (выра-

ботка личности, дисциплина ее, понятие о христианском долге и проч.). Наша интеллигенция не культурна религиозной культурой. Но ведь и народ наш не культурен религиозно. Значит, между интеллигенцией и народом розни нет? А между тем коренная и неизгладимая рознь между русским народом и русской интеллигенцией вмещается целиком в понятие, в чувство греха; насколько лишена этого чувства наша интеллигенция, настолько богато одарен им наш народ. Всем известно, какие жертвы были принесены интеллигенцией ради блага народа, как мужественно и беззаветно шли образованные люди в «народ» и как были «выплюнуты», замучены этим неблагодарным народом. На эту тему писались романы и рефераты, и, уязвленная в своем самолюбии, в своей подвижнической гордости, интеллигенция приписала эту свою неудачу исключительно народной тьме, политической косности и давлению начальства. Политическая косность в народе, несомненно, велика; но она ведь не помешала народу понять все преимущества представительного строя над приказным: народ реагировал на дарование учреждения Госуд<арственной> Думы так сильно, как никогда не реагировал на посулы и обещания «народников». Несомненно, между народом и его соблазнителями интеллигентами стоял монархический принцип. Но, кажется, гораздо сильнее действовал принцип религиозный — та именно сторона религиозного самосознания, которая называется чувством греха. Именно этого чувства народ не ощущал в своих попечителях и учителях — самого теплого, ласкающего и объединяющего все русские чувства. Гордая в своем унижении, заносчивая в своем смирении, искусственно опростившаяся интеллигенция повернулась к народу тем ликом своим, на котором народ не прочел ничего, кроме самоуверенности и безумного самолюбования. И народ отвернулся от этого лика, выплюнул его...

* * *

«Вся сила греха, мучительная его тяжесть, всесторонность и глубина его влияния на всю человеческую жизнь — словом, вся трагедия греховного состояния человека, исход из которой в предвечном плане Божиим могла дать только Голгофа, все это остается вне поля сознания интеллигенции, находящейся как бы в религиозном детстве, — не выше греха, но ниже его сознания...» Так пишет далее кровный русский интеллигент. Другой кровный русский интеллигент, Достоевский, подтвердил ту же

истину в бессмертных художественных образах («Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы»). И все-таки к элементарной истине этой наша интеллигенция осталась глуха. И все-таки она мнит подойти к народу, минуя самое чувствительное место народной души — сознание греха; мнит руководить им не теплотой смирения, а стальным холодом своей правоты. Зияющая щель между духовной жизнью нашей интеллигенции и народа именно здесь — в чувстве правоты (святости), с одной стороны, и чувстве греха — с другой. Нет народа, более проникнутого сознанием своей неправоты и греховности, как народ русский. Самокритика, самоанализ, самоуничижение, свойственные всей славянской расе, кристаллизовались в народной русской душе, как драгоценные камни в земных недрах. Отсюда, быть может, и религиозность русского народа, отсюда его стихийная грусть, из которой, как из сгущенной электричеством атмосферы, рождаются шквалы безудержных порывов веселья, вся ширина и глубина русского разгула. Вся русская народная жизнь соткана из безобразного узора такого вымученного веселья на фоне безысходной грусти. Многие приписывают эту грусть долгому рабству, бедности, унижениям, невежеству; но она сопутствует и тем группам русского народа, которые избегли рабства, сравнительно обеспечены и просвещены (государственные крестьяне, казачество); она не покинула народ и после его эмансипации, при экономическом подъеме (фабричное и заводское население). Весь север, весь центр и восток России тонут в волнах стихийной грусти, и только на юге, под лаской жаркого солнца, она уступает место некоторому оживлению. Эту специфически русскую грусть отражают в себе и народная песня, и народная поэзия. И нет такого художественного произведения из жизни русского народа, которое бы насквозь не было просочено этой грустью.

Как бы правдоподобны ни были причины ее, в центре их лежит сознание виновности, чувство греха. Это чувство не мучительно, напротив! Русская народная грусть не горькая, а сладкая (поскольку источником ее является сознание греховности). Сладость этого чувства в том, что оно является символом религиозности и стимулом, объединяющим весь православный русский народ. Религиозность и греховность в понятии русского народа почти синонимы. Каяться и молиться — вот идеал жизни православного христианина. И самая праведность, самая святость в понятии русского народа достигаются через огонь (почти все православные святители — раскаявшиеся грешники). Эту черту русской религиозности отражает и русская лите-

ратура в ее классических образчиках, с Достоевским во главе. Едва ли не она лежит в основе того непостижимого метания русской души между полюсами добра и зла, добродетели и порока, которым отмечены все душевные драмы у нас и вся русская история. Словом, покаяние (сознание греховности) составляет как бы специфическую особенность русской народной жизни, неизбежный этап к самосовершенствованию и бесспорный стимул национального самопознания.

Вот этого-то стимула и не хочет признать наша интеллигенция. Проникнув в «народ» без призыва к смирению и покаянию, а с горделивым лозунгом свободы, как свидетельства своей правоты и безгрешности, она, вопреки всяким ожиданиям, не встретила в народе сочувствия этому лозунгу. Народ принял интеллигенцию как чужеземцев, не только потому, что она была образованна, не признавала власти царя и святости церкви, а главным образом потому, что между нею и народом не оказалось кровных связей *греха*. Быть может, народ и чувствовал правоту интеллигенции, быть может, он и ценил ее жертвы, но ему нужно было другое. Ему нужно было подвижничество как стимул откровения и правоты, подвижничество раскаявшегося грешника, муки души, обьятой смятением и сомнением. А интеллигенция ни в чем не каялась и ни в чем не сомневалась. Этим она и подписала себе смертный приговор.

* * *

«Интеллигенция уверовала вместе с Руссо и со всем просветительством, что естественный человек добр по природе своей и что учение о первородном грехе и коренной порче человеческой природы есть суеверный миф, который не имеет ничего соответствующего в нравственном опыте. Поэтому вообще никакой особой заботы о культуре личности (о столь презренном «самоусовершенствовании») быть не может и не должно, а вся энергия должна быть целиком расходуема на борьбу за улучшение среды. Объявляя личность ее продуктом, этой же самой личности предлагают и улучшать эту среду...» Это уже не в бровь, а в глаз. Столь тяжкого обвинения русской интеллигенции еще не наносилось. Даже духовный отец ее, Иван Карамзov, путем логических выкладок решивший самую страшную формулу жизни («если нет Бога — то я Бог»¹), даже этот отцеубийца и наперсник дьявола, не отважился обожествить свою личность иначе как условно: *если нет Бога...* В этом карама-

зовском обожествлении скорее отчаяние, грусть и мстительная злость, чем надутое, идиотское самодовольство его духовного потомства. Иван Карамазов, бесспорно, жаждал Его, тосковал по Нем, мучительно завидуя Алеше, столь легко Его обретшему. Три брата Карамазовых мне всегда представлялись символом русского племени с его народом (Алеша), поместным дворянством (Дмитрий) и интеллигенцией (Иван). Интеллигенция (в ее лучших представителях) завидовала чистой и безмятежно-детской народной вере. Она бы дорого дала, если бы могла сохранить ее, не разрывая с задачами того западного «просветительства», которое заставило ее повиснуть на атеизме. Но жребий был брошен еще Чернышевским и Добролюбовым, и уже вырисовывался в тумане грядущей смуты наглый, самодовлеющий облик Базарова.

Но Базаров родился не сразу: его хамская, самодовольно-ограниченная душа, прежде чем слиться с душой Смердякова, прошла мучительные этапы. Вот эти этапы и рисует Достоевский в «Бесах» и в «Братьях Карамазовых». Шатовы, Ставрогины, Иваны Карамазовы — это переходная стадия от потускневшей народной веры и от изящного дворянского индифферентизма к холодному и склизкому, как уж, атеизму. В героях Достоевского еще были атомы сомнения — в современной революционной интеллигенции его уже нет. Митинговые ораторы наших дней не скажут, подобно Ивану Карамазову, «если нет Бога», а скажут: «так как нет Бога...». Притом в современном самообожествлении уже нет и намек на грусть и злость (ведь Иван Карамазов, в сущности, только мстил божеству, которое ускользнуло из его души и не давало себя ощутить), а только размеренное и тупое, как ход маятника, сознание своего превосходства. Презрение к самоусовершенствованию и признание несовершенств только в среде, а не в личности — эта черта выделяет русскую интеллигенцию из всех остальных. На Западе теории Руссо не только не помешали сложиться всей тамошней послереволюционной жизни в укладе воспитания и усовершенствования личности, но поставили заботу о личности выше заботы о среде. У нас случилось обратное: совершенно дикий строй воспитания личности, который мы унаследовали от Домостроя² и крепостного права, был разрушен во имя идей Руссо, и нового на его место не было воздвигнуто. И в школах, и в семьях одновременно, как по безмолвному уговору, перестали работать над усовершенствованием личности, заботясь лишь о том, чтобы личность эта получила пломбу, годную для вступления в «среду». Пломбированные интеллигенты и вступали в

среду с определенным заданием — окультурить и очеловечить ее. Они не заметили лишь одного, что «среда» пестрела пломбами, дававшими право на самообожествление, и что в конце концов окультуривать приходится самих себя. Но ни Руссо, ни Маркс, ни Михайловский сего не рекомендуют...

*(Гражданин. 1909. № 51—52.
16 (29) июля. С. 622—623)*

